

НА ЛЕГКЕ



МАЙЯ ТАЛАЯ

Майя Талая

Налегке

«Автор»

2026

Талая М.

Налегке / М. Талая — «Автор», 2026

Ушёл человек, забрал своё — и вся прежняя жизнь уместилась в кузов одной газели: шкаф, посуда, привычка быть чьей-то. У Веры остались голые стены, кот да лето впереди. Ей двадцать семь, и жизнь у неё — сплошные повороты: по диплому филолог, по делу фрилансер, а этим летом, поди угадай, — инструктор на прокате сапбордов. Тихая повесть о женщине, что училась нести и не рвать жилы; отпускать лишнее — мебель, обиды, чужие ожидания — и понять однажды, до чего налегке идётся вольнее. Без надрыва, с водой, которая держит, если не воевать. В первой книге «Налегке» — про лето, и здесь оно прожито до конца. А осень — работа в техникуме, новые группы, где Веру ещё никто не ждёт, — будет во второй книге.

© Талая М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. На одну газель	5
Глава 2. Июньский снег	11

Майя Талая

Налегке

Глава 1. На одну газель

Вера открыла кран. Нет, не стоп-кран — хотя как же ей хотелось рвануть именно его, одним движением выйти из всего. Но в её распоряжении был только водопроводный. Включила воду. «Ничего, — подумала Вера, — такой тоже подойдёт. Главное — шумит похоже на уходящий поезд».

Вода хлынула — горячая, почти злая, — и Вера шагнула под неё, как под ливень на перевале, где не спрячешься и прятаться не хочешь. Она стояла, опустил голову, и смотрела, как в слив уходит всё: пена, вчерашние слова, его обещания, своё имя на его, уже чужих, губах. Смыть можно что угодно, думала она, кроме памяти — та не растворяется, только оседает на дне, как песок после паводка.

Ещё недавно всё шло ровно — походы, фриланс, Женька под боком; а потом за каких-то полгода её жизнь будто разобрали по частям и вынесли, как ту мебель. И страшнее всего было даже не то, что ушёл, — а то, как легко. Сложил в кузов шкаф с кроватью, покидал сверху по мелочи всякого, прихватил кастрюли, и вышло, что её самой в этой жизни ровно на одну газель. Будто без неё всё только ровнее встанет. И вовсе не нужна.

Вера привыкла к нагрузкам, её тело знало, что такое идти двенадцать часов под рюкзаком, когда лямки режут плечи, а до перевала ещё топать и топать. Но в горах всегда есть перевал: дойдёшь — и откроется. А тут она шла уже который месяц и не видела ни вершины, ни спуска — одна ровная серая морось, в которой не разберёшь, утро сейчас или вечер.

Вера закрыла кран, неторопливо отодвинула влажную штору. В полумраке ванной её ждал Лёва. Его игривые глаза с любопытством разглядывали, как с её горячего тела медленно катятся капли.

Вера вздохнула.

Лёва шагнул ближе и требовательно, с хрипотцой... зевнул. Блеснули клыки.

И тут в нос ударило горелым.

— Ах ты ж!.. Гречка! — вскрикнула Вера.

И от поспешных движений Веры кот вылетел из ванны, зрелищно дрифта по новому ламинату.

В этот момент в квартиру ввалилась сестра, утыканная пакетами. Она бережно разложила всё по пустому коридору, а часть пакетов прихватила на кухню и сгрузила на подоконник.

— У тебя ностальгия по походу? — недоумевая, спросила она. — Зачем варить гречку в котле на газовой плите? Ты же недавно вернулась с маршрута.

— Женька забрал из квартиры посуду. Всю.

— Ты же сказала, что он вывез только мебель.

Вера обвела взглядом кухню. Гарнитур вдоль стены стоял, как стоял, — а всё, что снималось руками, уехало: ни посуды, ни стола, ни табуретки. Ни мужика. «Налегке, — подумала она. — Как на коротком маршруте: лишнего не берут».

— Отцу не говори, — отрезала Вера и посмотрела на указательный палец, на нём тускло поблёскивало чёрное кольцо с маленьким бриллиантом.

Эта квартира была единственным, что у неё осталось своего, несданного. Бабушкина, доставшаяся по наследству, она помнила Веру ещё пузатой пятилеткой и принимала любую — зарёванную, в брезенте, с подгоревшей гречкой. Стены тут ни о чём не спрашивали и просто держали.

Хотя от самой бабушки в них почти ничего и не осталось. Когда сходились с Женькой, всё старушечье повиносили на помойку, ободрали обои, сделали ремонт, купили нового — светлого, на тонких ножках, по последней моде. Это новое Женька и увёз. Из бабушкиного уцелела одна банкетка в прихожей, узкая, потёртая, — её он обозвал рухлядью и грузить побрезговал. Вот и весь бабушкин дом: голые стены да банкетка. Зато стены были её, родные, свои до последнего гвоздя, — не та вещь, что грузится в кузов.

А под самым кухонным окном росла рябина — да так близко, что густая зелёная стена листы колыхалась прямо за стеклом. Свет пробивался в комнату неохотно, дробился на мелкие остроконечные тени: резные рябиновые листья были похожи на птичьи перья. Кремовые горьковатые цветы уже опали, ещё в начале месяца.

Теперь на концах веток топорщились жёсткие зелёные зонтики, усыпанные узелками будущих ягод — крошечными, с бисер. К концу июня ягоды нальются, потяжелеют, и гибкие ветки от их веса да от частых дождей опустятся ещё ниже, к самому подоконнику. Будто рябина потихоньку заглядывала в кухню — поглядеть, как там Вера.

— Да папа и так всё узнает, — Кира прервала мысли Веры, со стуком переставляя на подоконнике пакеты, в которых глухо брякали консервные банки. — Он уже звонил мне. Спрашивал, зачем ты в навигаторе переставила «Дом» на палаточный лагерь. Кстати, что там с гречкой? Она уже не просто пахнет, она явно пытается со мной заговорить.

Вера и сама знала, что узнает. От отца ничего не спрячешь: беду он чует за версту, как пёс — грозу. Оттого и не спешила звонить первой. Скажешь ему «папа, у меня всё хорошо» — а он услышит ровно обратное и кинется спасать так, что потом от спасения отгребать дольше, чем от самой беды. Раз уже отгребала — с обугленной дверью и копотью на весь подъезд.

И ведь почти не сердилась. Жалко его было до слёз: сидит, седой весь — не то служба выбелила, не то беда, — и не знает, с какого боку подступиться к её горю, — вот и хватается за что попало. Любит, как умеет. А умеет по-своему, пожарным наскоком: где надо и где не надо — шашкой наголо в самое пекло.

Это чёрное кольцо отец и подарил ей после «Великого Спасения». Когда из-за расставания с Женькой Вера неделю не отвечала на звонки и сидела дома без света, отец решил, что медлить нельзя. Он приехал караулить под окнами, а потом — исключительно ради спасения дочери — нечаянно специально поджёг её деревянную входную дверь. Когда приехали пожарные, он громче всех давал показания и требовал найти поджигателей.

Дверь тогда вскрыли. В задымлённом коридоре их встретила Вера: лицо опухло от слёз, под остекленевшими глазами синяки, волосы скатаны в разные стороны, а на плечах почему-то брезентовый походный плащ. Полиция сначала даже заподозрила её в употреблении чего-то запрещённого и в поджоге собственной квартиры — но обошлось. Дверь отец купил новую, а с чёрными пятнами копоти в только что отремонтированном подъезде соседям пришлось смириться.

На остаток сбережений отец купил это кольцо. Как напоминание: в бездну отчаяния скатываться нельзя. Вера честно старалась. Но иногда одинокими вечерами всё же тихонько плакала, завернувшись в спальный мешок. От него пахло костром и горами; этот запах убаюкивал, и она засыпала.

А днём чёрное кольцо на пальце уговаривало её жить. Жить, даже если твоё сердце нарежали на кусочки и прикололи кнопкой в пустоту. А мебель и кастрюли увезли к новой пассии.

Вера сняла котелок с конфорки, поскребла по дну. Снизу спеклось в уголь, но сверху нашлось, что спасти. Котелок был свой, походный, и ложка складная, армейская, и кружка, и тарелка — всё своё, походное. Вера потянулась было за тарелкой — переложить, как у людей, — да махнула рукой. Стульев в кухне всё равно не осталось, садиться некуда. Так и ела стоя, прямо из котелка, поджав одну ногу к колену, как цапля. Гречка горчила гарью.

— Стоячий фуршет, — хмыкнула Кира, глянув на сестру. — Чисто как в Турции, на «всё включено». Только там стол на сто блюд, а у тебя одно — и то подгорелое.

В форточку, приоткрытую с ночи, несло липовым цветом — сладким, тёплым. Зацвела где-то по дворам липа, и духу её не было дела ни до подгорелой гречки, ни до пустой кухни: лез себе медовой струйкой, как ни в чём не бывало. От чужой беспечной сладости, когда внутри всё выжжено, делалось только тошнее — не утешала, злила.

И всё же где-то на самом краешке, мельком, кольнуло другое: этой медовой лёгкостью кто-то сейчас и живёт, целой жизнью. Просто не она. Просто Вера была сейчас не на той тропе.

Кира выудила из пакета йогурт, сунула ей:

— На. Хотя это нормальное.

Вера мотнула головой и жевала своё. Йогурт Кира поставила на подоконник.

Сама прошлась по кухне, открыла один шкаф, другой — пусто. Заглянула в духовку, щёлкнула краном на варочной панели — конфорка занялась синим венчиком, — потянула на себя посудомойку.

— Погоди-ка. — Она выпрямилась, прикрутила газ. — Гарнитур стоит. Духовка, панель, посудомойка. Он это всё не тронул?

— Не тронул.

— Посуду вынес, кастрюли вынес, а технику бросил? Она же тут самая дорогая.

Вера пожала плечами.

— Встроенная. Её выкручивать надо.

— И что?

— Ну ты Женьку не помнишь, что ли. У него руки... — Вера поискала слово, — не для этого растут. Он розетку без отца поменять боялся. А тут панель из столешницы тащить, шланги, провода. Ума не хватило. Забрал, что само снимается и выносится.

Кира фыркнула, потом подняла палец и произнесла торжественно, будто со сцены:

— Мужчина, который боялся розетки.

И тут же, понизив голос, ехидно добавила:

— Зато ты на технике сэкономила.

— Первый раз пригодилось, — сказала Вера. — И последний, — тихонько добавила она.

Где-то в пакетах запел телефон. Кира покопалась, выудила, глянула на экран.

— О, наследник. — Поднесла к уху. — Да, солнце... Ну рассказывай... Ага... В вагоне-ресторане поел? Ишь ты, барин... А книжку читал? Я ж тебе в рюкзак положила. На тихий час телефоны у вас отберут — будешь в потолок смотреть. Вот и считаешь... Всё, ешь, перезвоню.

Убрала телефон.

— На Азовское море укатил. Школа набрала смену, по классам, дали вожатых — и под их присмотром, целым отрядом, до самого моря. Первый раз у него поезд: мы ж всё самолётами, если куда выбирались. А тут двое суток по земле. Звонит каждые полчаса докладывать: чай в подстаканнике, степь за окном, сосед по полке из третьего «бэ». Счастливый до невозможности. И отличник у нас — снова круглый в этом году вышел.

— Круглый или квадратный? — Вера подняла глаза.

— Это как — квадратный? — не поняла Кира.

— Ну, когда одна четвёрка где-нибудь затешется. Уголок, и весь вид портит.

— А-а. — Кира махнула рукой. — Не, ты что. Наш круглый-прекруглый, без единого угла.

Вера перестала жевать.

— Слушай. А как он один-то поехал?

— В смысле один?

— Ну один. В десять лет. На море.

— А что такого.

— Так он же... — Вера запнулась. — Он же мелкий совсем.

— Был. — Кира пожала плечами. — А теперь один в поезде на море катит. Жизнь не стоит на месте, Верусь. Пока ты стояла — точнее, лежала, завёрнутая в свои страдания, — мир двигался. А знаешь почему?

Вера не знала.

— Мир ведь не один, Верусь. — Кира махнула рукой. — Каждый твой выбор ветвит реальность надвое: по одной ветке ты лежишь, по соседней давно встала и живёшь. Целая мультивселенная, и в каждой — своя ты. Я просто настроилась на ту, где встала.

— Ты о чём вообще?

— О суперпозиции, Верусь. — Кира махнула рукой, словно это всё объясняло. — Пока не выбрала — ты во всех ветках разом: и больная, и здоровая, и Вера-которая-смогла. А как захотела всерьёз, всем сердцем, — щёлк, декогеренция, и ты уже там, где хотела.

Кира кивнула на телефон.

— Я своего Эрнеста за тыщу вёрст чую, хоть он и в степи у моря. Мы с ним на одной волне: я тут улыбнулась — он там в окно засмеялся. Квантовая запутанность, говорят. И на море он не оттого, что я путёвку купила, а оттого, что я ни на грамм не сомневалась. А у тебя сомнение на сомнении — вот и ветка такая досталась.

Вера смотрела на неё, не отходя от плиты. Половины слов не разобрала, а одно всё же зацепилось — и совсем мимо того, что Кира пыталась всучить. Если миров и правда так много, то где-то живут и все другие Веры: та, что не пошла за Женьку; та, что так и не спустилась с гор и сейчас торчит не у плиты, а на каком-нибудь перевале. Значит, всё, что она выбрала и чего не выбрала, где-то уже сбылось, всё посчитано заранее, и ни одна из тех Вер никуда не делась, не пропала зря. От этой мысли почему-то делалось тихо.

— А Роберт твой что? Отпустил так спокойно?

— Роберт Генрихович? — Кира хмыкнула. — Роберт мой в эти мои дороги-развилки не верит. Он верит в путёвку со скидкой. Лагерь вышел в три копейки — вот и весь его дзен.

Она прислонилась к косяку и сложила руки — поза человека, который собрался рассказывать любимое.

— Он у меня вообще... — Кира поискала слово, — надёжный. Скучный, как инструкция к чайнику, зато всё работает без сюрпризов. Я ж его, Верусь, не абы как выбирала. Я ведь его не встретила. Я его выбрала. Это, между прочим, разные вещи.

Роберта она присмотрела ещё в МФЦ: приходил заверять бумаги — нотариус, при костюме, при часах, говорит ровно, в глаза смотрит. Другая бы повздыхала в сторонке да и забыла. А Кира за две недели выяснила про него всё: где обедает, какой кофе берёт, женат ли — не женат — и сколько стоит его машина. Составила, как она это называла, полную опись. И только потом позволила себе засмотреться.

— Понимаешь разницу? Сперва ум, потом сердце. А не наоборот, как у некоторых. — Она выразительно скосила глаза на сестру. — Сердце — дурак, ему что блесит, то и ладно. А голова поглядит и скажет: блесит, да олово.

Вера слушала, не перебивая, и думала про своё. У неё-то всё было наизнанку. Женьку она не выбирала и описи на него не заводила — их просто свело, притянуло, как два магнита, между гантелей в спортзале. Сошлись на той же неделе, съехались через месяц, не считая и не примеряясь, — потому что, когда тянет, не до арифметики. Кира бы сказала: вот потому и рассыпалось. Голова молчала — сердце повело, сердце и завело в яму.

— А дальше всё по плану, — продолжала Кира. — Через полгода загс, и никаких «поживём да проверим чувства». Чего проверять, если всё уже посчитано. Сомнение — это что? Это в голове трещина. А я без трещин беру. Решила — взяла.

И ведь не поспоришь: взяла. Стоят с Робертом второй десяток лет, как влитые.

А они и в детстве были такие — каждая своя. Кира трясла копилку раз в месяц, пересчитывала мелочь ровными столбиками, вечно на что-нибудь копила: на велосипед, на плеер, на «потом пригодится». А Вера свою разбивала через неделю — то отдаст кому, то спустит на ярмарке на полную ерунду: на стеклянный шар, в котором, если потряхнть, идёт снег. Кира уже тогда знала цену каждой копейке. Вера знала только цену снегу в том шаре.

Жили они тогда через две улицы отсюда, а летом дни напролёт пропадали у бабушки — вот в этой самой квартире, частенько и ночевать оставались. Кира с утра садилась за тетрадку, разлиновывала каникулы под расписание, а Вера убегала во двор и пропадала там до темноты: то носила в банке лягушек, то выменивала у мальчишек найденный болт на переводную картинку. Бабушка звала обеих обедать, и Кира приходила первой, с вымытыми руками, а Вера влетала последней, в зелёнке и репьях, и клялась, что руки мыла, хотя под ногтями был целый огород.

Тот снежный шар Вера выменяла как раз в одно такое лето — отдала за него всю копилку, да ещё Кириллотерейный билет в придачу, за что потом неделю ходила виноватая. Шар поставили на подоконник, рядом с бабушкиными фиалками. Внутри был не то домик, не то церквушка, и если потряхнть — поднималась метель и долго-долго не оседала. Вера могла смотреть на неё часами. Кира покрутила пальцем у виска: за такие деньги — стекляшку с водой. А Вера и не спорила. Просто у Киры был велосипед, а у неё — целая зима в ладони, посреди июля.

А по вечерам, когда спадала жара, к бабушке заходила баба Тоня — давняя её подруга с того же этажа. Доставали гранёные рюмочки, бабушкину рябиновую наливку, садились у раскрытого окна. И пели. Тягуче, в два негромких голоса, растягивая слова на долгом выдохе: «Что стои-и-шь, кача-а-ясь, тонкая рябина...». Была она вся про одиночество да про то, чему не сбыться, — а чем дольше её тянули, тем, видать, легче делалось обоим. Сама рябина стояла тут же, за стеклом, тёмная в сумерках, покачивала ветками будто в лад. Вера, уже умытая, в постели, слушала через стенку и не могла взять в толк: песня печальная, до слёз, а лица у бабушки с бабой Тоней к концу — тихие, просветлённые.

Отца Вера понимала. За Киру он отродясь не боялся: эта и в огне не сгорит, и в воде не утонет, ещё и спасателя за собой на берег вытащит. А Вера была другой породы, вся в отца, — оттого и его вечной заботой: вечно во что-нибудь да влипнет, вечно её куда-нибудь да занесёт. Он и в детстве за ней одной гонялся по дворам, пока Кира чинно сидела при уроках. И теперь, чуть у младшей что-то не так, у отца будто включалась внутри пожарная сирена — хоть выезжай с мигалкой. Иногда он и выезжал. Лучше б только без спичек.

Вера впервые за утро усмехнулась. Коротко, одними губами, но усмехнулась.

Кира заметила — и виду не подала. Прошла в прихожую, подхватила там свои пакеты.

— Ну всё. Пойду разложу, а то изменётся.

И унесла их в комнату — не спрашивая, где что. Оттуда зашуршало — вешать-то было некуда, и Кира стала раскладывать свои вещи прямо на подоконник, будто всю жизнь здесь хозяйничала.

Вера осталась на кухне. На подоконнике так и стоял нетронутый йогурт. Скиснет ведь, жалко. Она заглянула в пакеты на подоконнике — творожки, сыр, печенье, всякие консервы — и всё, как было, кучей переложила в холодильник. Холодильник был старый, бабушкин: «Бирюса», двухкамерная, гудящая; новый, общий, они с Женькой купить так и не успели. Вера бахнула дверцей.

Йогурт всё-таки открыла. Подцепила ложкой — на стаканчике весёлыми буквами было написано «Чудо».

«И правда чудо, — подумала Вера. — Только не про йогурт. Про Киру. Без всяких своих дорог и развилок. Просто чудо. Я бы так не смогла».

За стеной сестра мурлыкала без слов, на одной ноте — руки заняты, на душе спокойно.

Доела. Бросила было ложку в пустой стаканчик, шагнула к двери — и остановилась. Где-то внутри тихо так, не своим голосом, маминым ли, бабушкиным: «Вера, ну наведи порядок, это ж недолго». Вернулась, сполоснула ложку под краном, вытерла, убрала к кружке. А котелок с присохшей гречкой залила водой — пусть отмокает. Стаканчик бросила в мусор.

Кухня снова сделалась пустой и гулкой. Вера обвела её взглядом — стены без единой картины, голый подоконник, одинокая бабушкина «Бирюса» в углу да свой котелок в раковине. Не густо нажила к двадцати семи годам. И всё-таки где-то под рёбрами, под всей усталостью и горечью, шевельнулось что-то лёгкое, почти забытое, — так отпускает, когда сбросишь с плеч тяжёлый рюкзак. Унесли мебель, унесли посуду. Ушёл мужик. Ну и пусть.

Она тронула на пальце чёрное кольцо — отцов «уговор жить». Полгода оно уговаривало: держись. А сегодня впервые не уговаривало — подталкивало: ну чего встала. Иди уже.

И она пошла в комнату — смотреть, что за жизнь ей там раскладывают.

Поговорить о книге и о Вере, узнать, что у меня пишется дальше, — я в Телеграме (@mayatalaya) и ВКонтакте (vk.ru/mayatalaya). Буду рада тебе и доброму слову.

Глава 2. Июньский снег

Кира прочитала у одной стилистки, что на собеседование надо идти в синем брючном костюме мужского кроя — и тогда, считай, работа у тебя в кармане. Синий располагает к доверию, а мужской крой без слов говорит, что перед тобой не финтифлюшка, а деловой человек. Ну а дорогое ажурное бельё под ним — конечно же, для тотальной уверенности в себе. Кира в своё время быстро воспользовалась этим лайфхаком и теперь успешно трудилась заместителем директора по информационным технологиям в МФЦ.

Сейчас она всеми силами пыталась спасти сестру. Освобождая заветные брюки из портплекда, Кира чувствовала себя как минимум хранительницей тайны тамплиеров. Затем она с таким священнодействием, какое бывает только у алтаря, достала из нарядной коробки кружевное бельё и чулки.

— Зачем мне твои трусы? — удивилась Вера, заходя в комнату. Следом, прошмыгнув у неё между ногами, в комнату скользнул Лёва. Кот привстал на задние лапы, вытянулся к разложенному на подоконнике богатству и неодобрительно принялся к дорогому гипюру.

— Во-первых, я надевала их всего один раз, — загнула палец Кира. — Во-вторых, я их выстирала. В-третьих, у тебя сейчас нет денег даже на приличную кастрюлю.

— Спасибо, но свои трусы ближе к телу, — отрезала Вера, но чулки всё-таки взяла. Опустилась на стул у окна, неторопливо разворачивая тонкий нейлон. — А уверенность, Кир, она должна идти изнутри. Это не значит, что я не благодарна за костюм. Ты же знаешь, у меня в гардеробе кроме треников и походных толстовок вообще ничего живого не осталось.

Стул под ней был — потёртый красавец. Когда-то, видать, знал лучшие времена: высокая резная спинка, выгнутые ножки, по краю — остатки позолоты. Настоящий трон, только обнищавший. Вера перехватила его за копейки, на чьей-то распродаже, и притащила домой как сокровище. Женька, когда съезжал, его так и не забрал — не любил, ворчал, что рухлядь, того и гляди развалится под тобой. А Вера любила.

Она вообще питала слабость к старым вещам — к тем, у которых за спиной угадывается история. Из-за этой слабости когда-то чуть не пошла на истфак. Но история требует точности: как было — так и пиши, ни шагу от фактов, каждую дату подопри документом. А Вере хотелось другого. Чтобы можно было сесть вот на этот обнищавший трон и решить, что когда-то на нём, расправив полы камзола, восседал не уездный столоначальник, а сам король; что вытертая позолота — следы не времени, а тяжёлых королевских перстней. В истории так нельзя. Победил филфак. И Вера ни разу об этом не пожалела.

Костюм 46 размера неплохо сидел на Вере, которая была тоньше и ниже Киры. Смотрелся, как эдакий модный оверсайз.

Вера на ходу закрутила в рогалик волосы на затылке и вышла в прихожую. Кира следом за ней.

— Посидим на дорожку, — Кира уже в прихожей плюхнулась на банкетку. Та была на одного, советская, и Вера осталась стоять.

Выкинуть эту банкетку Кира просила сто раз. А Вера не могла. Когда-то они с Кирой, две пигалицы, умудрились усесться на ней вдвоём. Сколько всего перевидало это место. Три ножки чёрные, четвёртая светлая — родная когда-то сломалась, и дед выточил новую, посадил на свой мебельный клей. Он всю жизнь проработал в мебельном цехе, всё руками. А чехол на сиденье был бабушкин — вытертый, с тем самым восточным узором, крупными каплями-завитками, которые в народе зовут огурцами, и с растрёпанной по краю бахромой, которую Лёва день за днём исправно расплетал когтями. Дед мастерил, бабушка обшивала. Их самих давно нет, а она осталась. И пока стоит вот тут, в прихожей, — будто они и не уходили совсем.

— Ничего не забыла? Телефон, документы? Так погоди, директор мужчина или женщина?

— Мужчина.

— Нужна завлекалочка.

Кира подскочила и стала доставать тонкую прядку волос.

— Пошли уже, — сказала Вера, убирая золотую волну за ухо.

И они вышли из дома.

Через пять минут они уже мчались по разомлевшим, дышащим зноем улицам на новеньком Кирином китайском белорусе. Выехали на главную, где с двух сторон монументально возвышались старые тополя, и пух шёл сплошной стеной — мело бесшумно, как в метель, только эта метель была горячеей.

— Тополиный пух, жара, июль... ночи такие томные... — тихо, почти про себя, запела Вера, глядя в окно.

Кира, напряжённо глядя вперёд, плавно притормозила. Зажглась зелёная стрелка, и она осторожно повернула, пропуская встречных.

— Скоро никакого пуха вообще не будет, — отозвалась Кира, не поворачивая головы. — Внуки наши его уже вряд ли увидят. И песню «Иванушек» не поймут. Деревья с таким пухом живут лет семьдесят, а сейчас везде сажают другой тополь — без этой пушинной опции.

Кира умела осадить любую романтику: очень практичная, меркантильная — в хорошем смысле, конечно.

Что-то сжалось у Веры внутри. А что, если этого больше не будет? А что, если она видит этот горячий июньский снег в последний раз? Мысли понеслись, обгоняя друг друга, и ей вдруг отчаянно захотелось его удержать. Поймать ладонями, надышаться, проститься. Так бывало с ней всегда: красота, которая вот-вот исчезнет, отзывалась почти физической тоской. Она обернулась к сестре, и внутри шевельнулось странное, ревнивое сожаление. Потянулась к двери, приспустила стекло — впустить это июньское безумие.

Но Кира тут же нажала кнопку на своей панели. Стеклоподъёмник сработал мгновенно — стекло бесшумно встало на место.

— Вера, ну ты что, машина же совсем новая! — бросила Кира, поправляя зеркало. — Кондиционер работает, климат идеальный. Не тащи ты этот мусор в салон, мне его потом вовек не вычистить.

На заправке с утра отстояла полчаса, залилась под горло — по талонам скоро раздавать будут, ей-богу. Ну и пусть. Париться в собственной машине из-за какого-то бензина она не собиралась, и кондиционер гудел на полную.

Стекло отрезало мир. Вера заворожённо смотрела сквозь прозрачный занавес на тёплую выюгу, что липла к лобовому стеклу снаружи. Полуденное солнце прошивало летящие хлопья насквозь, и воздух за окном казался густым, янтарным, искрящимся.

По телу вдруг разлилось беспричинное, давно забытое, горячее чувство жизни. В груди, там, где так долго стоял иссохший, обгорелый ствол её прошлого, что-то осязаемо хрустнуло — будто старое дерево, треснув от зноя, надумало вытолкнуть первые клейкие, пахнущие зеленью листья.

— Кира, стой! Останови прямо здесь! — голос Веры сорвался на непривычный, почти панический фальцет.

Кира вздрогнула, прижалась к тротуару, резко затормозила и щёлкнула аварийкой.

— Вера, ты с ума сошла? Здесь же нельзя! Что случ...

Но Вера уже не слушала. Она рванула ручку и выбралась из стерильной, пахнущей холодным пластиком кабины прямо в удушливое, ревущее пекло июньского полудня.

Каблуки туфель по щиколотку утонули в мягкой, раскалённой пыли у бордюра. Дверь за спиной захлопнулась. Вера запрокинула голову. Солнце слепило так нещадно, что сквозь

набежавшие слёзы зелёные кроны казались расплавленным изумрудом. Пух валил сверху, как обвальный снегопад, засыпал плечи пиджака, застревал в волосах. Вера развела руки, растопырила пальцы, ловя ладонями этот горячий вихрь. Невесомые белые комья покачивались, доверчиво оседали на пальцах и — вопреки всему — не таяли, щекотали кожу лёгким пушком.

Жара обволакивала её плотным коконом. Впервые за долгий год ей было хорошо просто так, без причины.

И тут Веру с головой накрыло настоящим звуком, запахом и вкусом мира. Пух больше не был красивой картинкой за стеклом — он был живой, шершавый, покалывал кожу. Вера зажмурилась, но пушинки упрямо лезли в глаза, цеплялись за ресницы, липли к потрескавшимся губам — на язык садилась пыльная горчинка, вкус сухого тополя и раскалённого асфальта, — забивались под тугой воротник синего пиджака. От проносящихся машин несло горьким раскалённым асфальтом, бензином и пересохшей землёй. Кто-то притормаживал, кто-то недоумённо оборачивался, а проезжавший мимо водитель оглушительно и весело библикнул, обдав её новой порцией пыльного ветра.

— Всё, налюбовалась? Садись уже, тут стоять нельзя, — Кира перегнулась через сиденье и распахнула дверцу шире.

Вера ещё постояла секунду — будто прощалась, — потом смахнула с плеч пушинки, половина всё равно осталась, и забралась обратно в прохладу. Дверь мягко чмокнула, отрезав уличный гул. Снова стало тихо, ровно, кондиционерно-свежо.

Кира тронулась, искоса поглядывая на сестру. Та сидела с пушинкой на ресницах, в её, Кирином, помятом теперь пиджаке, и улыбалась чему-то своему, глядя в окно. Совсем как в детстве, когда маленькую Веру невозможно было загнать домой ни дождём, ни темнотой. Кира хотела было привычно отчитать — про костюм, про пыль, про возраст, в котором так себя не ведут. Но не стала. Только вздохнула, прибавила газу и подумала, что сама уже и не помнит, когда в последний раз вот так, без причины, чему-то радовалась.

Вера сразу после окончания института стала фрилансером: работала в разных сферах онлайн, ей нравилось учиться новому. Она легко меняла одну сферу на другую, как только чувствовала потолок своих возможностей.

Эта ненасытность к новому перетекала в регулярные походы: пешие, конные, горные — зимой и летом, а по большой воде и сплавы.

Вера ловко жонглировала однообразной сидячей работой за ноутбуком и разного рода вылазками.

Работа её в этих аппетитах не ограничивала, но и не баловала: денег хватало ровно на еду да на хобби — а большего Вере и не было нужно. Есть такая порода людей, которым богатство ни к чему: им важнее не владеть, а пробовать. Копить впечатления, а не вещи; мерить жизнь не тем, что лежит на счету, а тем, что осело в памяти. Вера была из таких — лёгкая на подъём, тяжёлая на якорь.

С Женькой Вера познакомилась в спортивном зале. Их словно намагничивало друг к другу, поэтому, недолго думая, они стали жить вместе — в её квартире.

А ведь в тот зал он, кажется, и ходил-то больше себя показать, чем тягать железо. Женька был из тех, кого замечаешь сразу: громкий, с лохматой гривой до плеч, которую то стягивал в пучок, то распускал, потряхнув головой, как рок-музыкант со сцены. Вере эта грива казалась тогда львиной, роскошной. Он играл на гитаре, знал сотню историй, в любой компании за полчаса делался своим. Рядом с ним и серый понедельник превращался в праздник: то ночью сорвутся встречать рассвет на крыше, то посреди недели катят на такси к чёрту на кулички, просто так. Вера, всю жизнь тосковавшая по приключению, попала на это как на крючок — ей почудилось, что она встретила такого же, как сама: лёгкого и свободного.

Кем он был по жизни, Вера и под конец не взялась бы объяснить в двух словах. Музыкант — но без группы, звукач — но без заказов, вечно на пороге проекта, который вот-вот выстрелит

и всех озолотит. То сводил кому-то альбом, то «запускал» подкаст, то загорался новой темой — продвижение, инфокурсы, «надо ловить волну, пока другие спят». Волну он ловил года три, а к берегу так ни разу и не пристал. Деньги в дом несла Вера, за квартиру платила Вера — его, человека творческого, нельзя загонять в рутину, в клетке он не поёт. И она верила. Подавала кофе вдохновению, которое жило у неё на диване и боялось менять розетку.

Деньги у него, к слову, водились — но как прилив: то месяцами пусто, то вдруг свалится гонорар за сведённый альбом или аванс под очередной проект, которому суждено заглохнуть. И на такой волне Женька гулял широко. Однажды разом и обставил всю квартиру: притащил диван, шкаф, кровать, выбирал не приглядываясь к ценнику, по-барски. Вере, с её вечным «чтобы работало», было неловко от такого размаха — но он умел подать это как праздник, и она сдавалась. А вот ровную, скучную тяготу — квартплату, продукты, свет — когда прилив схлынет, снова тянула она.

А потом праздник стал тускнеть — не разом, исподволь. Рассветы на крыше сошли на нет, истории пошли по второму кругу, гитара всё чаще пылилась в углу. Лёгкость, которая так манила, обернулась пустотой; свобода оказалась самой обыкновенной безответственностью. И даже грива, которой она любовалась как львиной, виделась теперь просто космами человека, которому лень дойти до парикмахерской.

Через три года они оказались в межеумочном положении: когда отношения уже не слишком страстные, чтобы быть интересными друг другу, но и не слишком интересные, чтобы быть страстными.

В очередной отъезд Веры Женьку так примагнитил ореховый рельеф пятой точки двадцатилетней фитнес-тренерши, что он забрал вещи и съехал с квартиры.

Так Вера в один день осталась и без мужчины, и без мебели. Формально-то он забирал своё — сам когда-то всё это с размаху накопил, сам и увёз, не подкопаешься. Только легче от этого не делалось, скорее муторнее: даже вором не обзовёшь.

Вера неделями пыталась понять, что делать со всеми своими чувствами: прожить, пережить, стереть?

А чувств было — полная квартира, будто Женька, увозя мебель, забыл их выключить, и они всё работали вхолостую.

Первые дни она просто не знала, куда себя деть. Тело жило по старой привычке: рука среди ночи тянулась к нему под бок — и находила пустой ламинат рядом со спальником, гладкий и холодный, как лёд. Утром она по инерции наливала в старую кофеварку воды на двоих и спохватывалась только над второй чашкой. Оборачивалась сказать что-нибудь — а говорить некому, только Лёва смотрит с подоконника, будто тоже ждёт, когда всё станет как было.

Потом пошли вопросы. Она крутила их ночь за ночью, по кругу. В какой момент? Где проглядела? Может, тогда, когда он перестал спрашивать, как прошёл её день... или ещё раньше. Она отматывала плёнку назад, искала тот единственный кадр, на котором ещё можно было что-то склеить, — и не находила. Кадра не было. Всё рассыпалось не вдруг, а тихо, по песчинке, пока она смотрела в другую сторону.

И обиднее всего было даже не то, что ушёл. А что ушёл буднично, между делом, как съезжают с надоевшей съёмной квартиры: собрал своё, прихватил заодно чужое — и дверь за собой не хлопнул, а прикрыл аккуратно. Ни скандала, ни последнего разговора, на который она, кажется, имела право! Будто и не было трёх лет.

Ахматову она любила всегда — ещё со школы зачитывалась, а на филфаке знала наизусть целыми циклами. Только раньше это были просто красивые слова, чужая, книжная печаль, к которой так уютно примеривать себя, пока тебе самой не больно. А теперь строчки всплывали сами, без спросу, откуда-то из-под спуда, — и она вдруг поняла их изнутри, на собственной шкуре. «Брошена! Придуманное слово, — разве я цветок или письмо?»* Вот и она — не цветок

и не письмо. Только цветок хоть засушат на память, а письмо перечитают. Её же просто вынесли вместе с мебелью.

И вот это было обиднее всего: ей даже не оставили красивого, настоящего горя, на которое она, как ни крути, в глубине души рассчитывала.

Накатывала злость — короткая, жаркая, на саму себя, и тут же сгоравшая. А чаще приходил стыд: променяли, да ещё на молоденькую, и теперь родня будет жалеть или, того хуже, понимающе кивать.

И она молчала. Ходила на свои фрилансы, отвечала клиентам ровным голосом, а вечером заворачивалась в спальник и лежала на полу, глядя в потолок. Спальник пах костром и горами и грел её так, как давно уже никто не грел. С ним она прошла не один перевал, ночевала под дождём и под звёздами, мёрзла и отогревалась, — и он ни разу её не подвёл. Стянешь шнурок у лица — и ты как в коконе, снаружи хоть мороз, хоть пустая квартира, а внутри тепло и пахнет той жизнью, в которой ей было хорошо и без всякого Женьки. Спальник не уходил к двадцатилетним. Спальник не предавал.

А по ночам к ней приходил Лёва. Не утешать — утешать коты не умеют, — а по своему кошачьему делу: у неё в ногах было тепло, уютно похрустывал спальник. Подминал под себя угол, сворачивался тугим тёплым кренделем и заводил ровное урчание, ни к кому не обращённое, как далёкий трактор за рекой. И это чужое тепло, которому не было ровно никакого дела ни до Женьки, ни до увезённой мебели, ни до её горя, почему-то согревало лучше любых слов. Живой. Тёплый. Ничего не спрашивал.

А ночами она плакала. То навзрыд, взahlёб, уткнувшись лицом в свёрнутую толстовку, то слёзы шли сами собой, тонким ручейком, который всё не пересыхал и не пересыхал. А бывало, боль наваливалась так, что нечем становилось дышать. Не камень на груди, не плита — нет. Скорее так, как однажды в горах, когда поднялись слишком быстро и воздух вдруг сделался разреженным, чужим: тянешь его полной грудью, а его будто и нет, и сердце колотится впустую. Вот и теперь — лежишь, а вдоха всё не хватает и не хватает.

Тогда она вспоминала, чему научили горы. Дышала животом, медленно и длинно: вдох носом, долгий выдох, — и грудь понемногу отпускало, давящий обруч слабел виток за витком, и боль из острой перетекала в тупую, ноющую, с какой хотя бы можно жить. И всё равно было страшно. Она, всю жизнь такая самостоятельная — сама в горы, сама на сплав, сама за себя в любом раскладе, — теперь лежала на полу в пустой квартире и не знала, что ей с собой делать.

А думала она всё об одном — о том, как намертво к нему привязалась. Привязалась — ишь, слово какое: будто и впрямь связали по рукам и ногам, прихватили верёвкой за самое сердце. А раз привязана — надо развязаться.

Филолог в ней не дремал даже среди ночи. Развязаться, разлюбить, разойтись, расстаться — надо же, как подобралось: всё про неё и всё с одной приставки. «Раз-» — приставка-разлучница: за что ни возьмётся, то и растащит по углам, разнимет, разорвёт надвое. Вот и их с Женькой она этой приставкой тихой сапой и разняла.

Распутать узел за узлом всё, чем он за эти годы примотал её к себе. Только узлы не поддавались, затянулись наглухо — хоть зубами грызи. Не развязать — значит, разодрать.

И как-то ночью, не выдержав, Вера встала, подошла к стене и подцепила ногтем край обоев.

Эти обои они клеили вдвоём, ещё в первый год. Точнее, выбирал Женька. Вере приглянулись другие — светлые, в мелкую веточку, она их чуть не до слёз хотела; а Женька поморщился: веточки — это, мол, бабушкин санаторий, — и взял свои, серые, «солидные, под бетон, сейчас так клеят». Она тогда уступила, как уступала во всём по мелочи: ну обои и обои, не из-за стенки же ссориться. Уступила — а потом два года каждое утро открывала глаза в его выбор.

И вот теперь его выбор смотрел на неё со всех сторон. Вера потянула.

Полоса пошла с сухим треском — тр-р-р, длинным, на весь спящий дом, — нехотя, кусками, оставляя на стене седые лохмотья клея. И от этого звука внутри что-то рвалось вместе с бумагой: и больно было, и легче разом. Под ногти забивалась труха, руки скоро были по локоть в белой пыли, а она всё драла и драла, со злым облегчением, будто сдирала не обои, а его самого с себя. Говорят: с глаз долой — из сердца вон. У неё вышло наоборот. Раз уж из сердца вон — то и с глаз долой. К утру стена стояла голая, ободранная, в разводах старого клея — некрасивая, зато ничья. Впервые за долгое время это была её стена, а не их.

Пусть думает, что бросил её первым. Это она его бросила. Просто чуть позже и молча — вместе с его обоями.

А чувства всё не кончались. Содрала обои — отпустило, да ненадолго: к утру стихало, а к ночи наваливалось снова. Только эта беда оказалась не из тех, что перетерпишь одна. Дай им тишину — расплзутся по углам и останутся жить.

А ведь людей вокруг хватало. Одноклассница из дома напротив; подружки, с которыми когда-то не вылезали из кафешек; походные товарищи — те, с кем она мокла под одним тентом и делила последнюю банку тушёнки. Раньше думалось: только свистни — сбегутся. А тут будто кто повернул рубильник: все разом отдалились, отплыли куда-то за мутное стекло. Да она и сама никого не звала — наоборот, хотелось забиться в нору и не казать оттуда носа.

А кто всё же прознавал, заговаривал с ней бережно, вполголоса, будто у постели больной. И в этом полушёпоте, в торопливых «ну ты, главное, держись», в том, как отводили взгляд и спешили съехать на другое, ей слышалось одно и то же: не трогай, не лезь. Будто чужая беда — это лишай: подойдёшь близко, посочувствуешь не так — и сам подхватишь. Вот и обходили стороной, на всякий случай. И от этого делалось ещё тоскливее, чем наедине с пустыми стенами.

Пробились только двое — самые близкие и самые упёртые. Кира и спрашивать не стала: приехала, оглядела разорённую квартиру, поджала губы — мол, говорила же, — и осталась. А отец, от которого Вера пряталась изо всех сил, всё равно учуял, как чуял всегда, за версту. Учуял — и, конечно, не утерпел.

Начал он с малого — с телефонного звонка. Голос в трубке был нарочито будничным: будто и не проведать звонил, а так, мимоходом, по делу.

— Ты показания-то передала? За воду, за свет. Двадцать пятое сегодня, крайний срок. Прогадает — пени накрутят.

— Передала, — соврала Вера. А не передавала — просто не хотела подпускать: скажи правду, отец тут же вызовется приехать, помочь, влезть. Кольнуло стыдом — да она проглотила укор и задвинула подальше.

— Ну смотри. Такое забывать нельзя. — Он помолчал, подышал в трубку. Будто хотел сказать ещё чего, да не нашёл слов. — Ну ладно... Да-ва-ай. — И дал отбой.

И вот на этих счётчиках её и накрыло — крепче, чем от всех бережных «держись». Отец про чувства не умел. Отец умел про счётчики. Страдай там у себя сколько влезет, только показания передай да пени не плати. Живи давай.

Дня через два, когда в её квартиру ввалились пожарные, её озарило: от людей надо лечиться людьми.

На следующий день она уже рылась в коробках. Ей срочно нужны были люди с их проблемами, чтобы отключиться от своих. И синий диплом филолога был очень даже кстати. Да только техникум в выходной заперт — пришлось изводиться до понедельника.

Сейчас, поднимаясь по лестнице к директору техникума, с каждой ступенькой энергичное цоканье каблучков напоминало стук клавиши «delete»: злость, страх, разочарование... delete... delete...

Решительно открывая дверь в приёмную, она почувствовала, что левая уверенность спускалась по ноге всё ниже и ниже. Прямо в туфлю.

Когда Вера села за стол напротив директора, взгляд её скользнул мимо, в окно: там, на разморённом солнцем дворе, стояла новенькая «Гранта». Чулок к этому времени уже выглядывал из-под штанины.

* Анна Ахматова, «Проводила друга до передней» (1913).

Поговорить о книге и о Вере, узнать, что у меня пишется дальше, — я в Телеграме (@mayatalaya) и ВКонтакте (vk.ru/mayatalaya). Буду рада тебе и доброму слову.